

Григорий Кружков

ОСТРОВА

МОСКВА «ТЕКСТ» 2020

УДК 821.161.1-4
ББК 84(2Рос=Рос)44
К84

Художник А. Иващенко

ISBN 978-5-7516-1635-9

© Григорий Кружков, 2020

© ИД «Текст», 2020

Для первооткрывателя Тихий океан самое грибное место и есть. Капитан Джеймс Кук столько наплавался по этим южным морям, что, подобно как грибник после целого дня в лесу, и во сне открывал новые острова.

Из записок И. Ф. Крузенштерна

ПРЕДИСЛОВИЕ

О людях, которые пишут повести и романы, я всегда думал с каким-то даже не изумлением, а суеверным страхом, словно о колдунах. Как они могут выдумать все это из головы: кто, куда и зачем пошел, и что подумал на ходу, и кого встретил, и какое с ним приключилось счастье или несчастье. Я бы ни за что так не смог, хоть меня озолоти. Сказки — другое дело, но ведь это просто враки — как сидеть на лавочке и плести всякую околесицу. Нет, врать — это не придумывать, а показывать фокус с резинкой, совсем не то, что по-настоящему колдовать.

Когда я думаю об этом таинственном, магическом ремесле, мне представляется картинка, запомнившаяся с детства: стоит голубятник посреди двора и смотрит в небо. Он в штанах и майке, из-под которой вылезает голое пузо, в зубах у него прикушенная папироса, а голова задрана; и он смотрит, не отрываясь, вверх — туда, где высоко-высоко ходят кругами белые голуби.

И, не понимая, как это происходит, я все же догадываюсь, что есть какая-то невидимая нить — как у того, кто запускает воздушного змея, — между стоящим на земле мужиком в майке и этими

вольно, высоко реющими белыми птицами. Такой же магической представляется мне связь между романистом и его героями.

Я не умею ничего выдумывать, а писать прозой иногда хочется — что же мне остается? Только рассказывать о том, что уже есть в голове, о том, что вспомнилось; остается мемуарный жанр, самый низкий из всех, неверный, опасный и не единожды опозоренный жанр «ме».

Эта книга состоит из фрагментов, написанных в разное время: кое-что по горячим следам встреч и событий, а другое — издавна, спустя многие годы. Писать абсолютно всё, без утайки — «физическая невозможность», как сказал один мудрый человек; но и подправлять что-то, менять и ретушировать — невозможность душевная. И еще одно. Должен предупредить, что будет много стихов и рассуждений о стихах — наверное, это не всем нравится; но ведь есть и другие книги.

Вот, пожалуй, главное, что я хотел сказать. Поставим на этом точку, чтобы заранее не надоесть терпеливому читателю.

СО ДНА ПАМЯТИ

1. ДЕТСТВО И ШКОЛА: ПЕРЛОВКА

— Перловка! Вылезай, кому неловко!

Так говорили перловчане, подъезжая к своей станции, что в двадцати минутах от Москвы по Ярославской дороге. С детства затверженная, как до-ре-ми-фа-соль-ля-си, гамма: Москва III, Маленковская, Яуза, Северянин, Лосиноостровская, Лось, Перловская. Здесь я жил с нуля до восемнадцати — пыльные улицы, ветхие дачи, сады, дворы, закоулки, бараки. Половина моих одноклассников жила именно в бараках. Другая половина — в домишках дачного типа, тоже перенаселенных, поделенных на части, с прилепленными к ним пристройками и террасками. В таком доме жила и наша семья — до моих двенадцати лет в одной комнате, позже, после того, как была сделана пристройка, в двух комнатах с отдельным входом.

Ничего замечательного я не нахожу в своих ранних воспоминаниях. Минимум вещей, голый, спартанский быт, царство необходимости — той самой, о которой король Лир сказал: сведи все к необходимости, и человек сравняется с животным. Я тогда этого не понимал, но, должно быть,

подсознательно страдал, томился по красоте; оттого в первом классе и накрал чудесных стеклянных фигурок с елки моего приятеля, «богатого» мальчика Саши П., за что и был бит матерью, обнаружившей мой тайник в тумбочке, — с горькими словами, с надрывом, с моими и ее слезами. (Спустя годы я узнал, что мамин младший брат стал беспризорником, а потом вором и сгинул на Колыме.)

Все начиналось с ползучей гусиной лапчатки, которой зарос двор, с двух кленов за окном, на которых была укреплена перекладина — на ней подтягивался сосед Ленья, сын тети Ани, — с их длинного картофельного поля, конец которого уходил куда-то к границе известного мне мира, с ветвистой липы возле ворот, на которую я любил карабкаться, с неглубокого овражка за калиткой, очертаниями напоминавшего виолончель или контрабас, с «секретика», завернутого в кусок толя и зарытого на речном островке, с игры в войну, в которой самое лучшее — беготня по тылам противника и долгие уютные засады, с копания картошки, с привезенного на грузовике угля, который нужно перетаскать в подполье, с осенних костров на огородах — горькой услады летних сумерек, торжественной жертвы неведомым богам.

Чтением я овладел рано, трех с половиной лет, заглядывая через плечо в учебник двоюродного брата-первоклассника, и к шести годам был уже заядлым книгочеем — глотал все, что попадалось под руку. Попадалось немного, ибо ни у нас, ни у соседей книг почти не было. Никаких таинственных книжных шкафов, старых переплетов, приложений к «Ниве» — ничего этого в моем детстве не

существовало. Правда, немного позже, в первом классе, я подружился с мальчиком, у которого отчим был директором какой-то фабрики; у них в доме, как у всех зажиточных людей того времени, стояли дефицитные собрания сочинений, и вот их-то, зная аккуратность мою и моей мамы, мне иногда давали читать домой.

А в дошкольные годы попадались мне на зуб в основном тонкие, в двадцать-тридцать страниц, брошюрки знаменитой серии «Книга за книгой». Помню, в этой копеечной детгизовской серии я прочел рассказы Льва Толстого «Выстрел» и «Акула» (которые и сейчас ценю выше его романов), Чехова «Мальчики» (Монтигосто Ястребиный Коготь!) и много чего другого. Но настоящих полновесных книг во всем нашем бестолковом многосемейном доме, со всеми его комнатами и террасами, отыскалось только три: том Гоголя, рассказы и повести А. Н. Толстого и мой любимый толстый «Пионерский театр». «Вечера на хуторе близ Диканьки» я глотал, как галушки, — и только «Страшную месь» боялся перечитывать, но она и без того мне снилась каждую ночь. Страшноват был и «Граф Калиостро» А. Н. Толстого, особенно когда он велит Алеше представить даму с портрета «без покровов, то есть нагую» — и жуткое оживление совершается. А что бы я делал без «Аэлиты», что бы знал о Марсе, Гражданской войне и женской любви?

«Пионерский театр» — отдельный разговор. Но сначала надо объяснить, откуда он у нас появился. Дело в том, что мама много лет проработала в пионерлагерях; тогда к каждому отряду прилагалось двое взрослых: пионервожатая (которая хо-

дила с красным галстуком на шее) и воспитательница (без галстука), — так вот, моя мама ездила воспитательницей и каждое лето брала меня с собою. Обычно ей давали средний или старший мужской отряд — в мои дошкольные годы существовало еще раздельное обучение; так с четырех-пяти лет я оказался в компании ребят-старшеклассников, от которых выучился разным полезным вещам — от шахмат до дурацких песенок вроде «Колумб Америку открыл, страну для нас совсем чужую. Дурак! Зачем он не открыл на нашей улице пивную».

Вот оттуда, из пионерлагеря, должно быть, и взялась книга, которой я зачитывался еще дошкольником. Чего-чего там только не было! Сборная солянка по вкусу того времени. Например, пьеса про черного мальчика, попавшего из американского ада в простую советскую школу. И еще какая-то ерунда в том же роде, совершенно изгладившаяся из памяти. Но зато там были картинки с объяснениями, как делать костюмы и декорации для любительских спектаклей. Была инсценировка «Чука и Гека» по Аркадию Гайдару, «Город мастеров» Татьяны Габбе и — ура! — «Снежная королева», пьеса Шварца по сказке Андерсена. *Снип-снип-снурре, пурре-базелюрре!*

Кстати, что это значит? Заглянул в словари, но ничего подходящего не нашел. И вдруг на Новый год получаю презент от профкома: пачку цейлонского чая. Картинка со слонами, крупная надпись: BASILUR, а под нею, помельче: PURE CEYLON TEA. Можно предположить, что когда-то мальчик Женя Шварц рассматривал

коробку колониального чая со слонами и его внимание привлекли загадочные слова: PURE BASILUR TEA. Настоящий базилюрский чай, *пуре базилюре*. Впрочем, это мог быть и чай, продававшийся уже при нэпе в торгсинах.

Жили мы на 2-й Крестьянской, четвертый поворот, если идти со станции по главной перловской улице, по 2-й Вокзальной (ныне Веры Волошиной). Сперва по правую руку шел маленький рынок, за ним — двухэтажное желтое здание: на первом этаже продукты, на втором — промтовары. Этот единственный на всю Перловку магазин носил у нас гордое звание Большого («Мама пошла в Большой магазин»). Дальше — улица Семашко, дом отличника Коли Корнева. Дальше — Яузская улица, тут на углу стоял (и до сих пор стоит) Кооперативный институт, четырехэтажный небоскреб, гордость и слава Перловки. Следующий перекресток — 1-я Крестьянская; если пойти направо, можно дойти до деревянного моста через Язу, а дальше по дороге — бандитский поселок Грачи, куда чужакам ходу нет (да никто туда и не ходил). А вот и наша 2-я Крестьянская; свернул налево, и ты практически дома, наш двор — третий от угла, всего каких-то сто метров; но это если днем, а когда возвращаешься поздно вечером — кромешный мрак, фонарей нет, и так далеко до спасительной калитки. Впрочем, *собака Баскервилей* может быть и там, за калиткой, в любом месте общего двора и темной тропинки, ведущей в обход дома на внутреннюю его сторону, — так что отдышаться можно, только когда взбежал на крыльцо, захлопнул за собой дверь и повернул ключ в замке.

Еще чуть-чуть географии. В конце нашей улицы текла Яуза. В моем раннем детстве она была намного шире (и чище), чем потом, всего через пять-десять лет, когда река неожиданно так обмелела, что курица могла перейти ее вброд, и никак не верилось, что в ней когда-то купались; а в ней действительно купались целыми семьями — я это помню — и загорали на берегу. А если пойти в другую сторону по той же улице (вырастая, мы отваживались на все более далекие вылазки), можно было дойти до Трудовой, которая шла параллельно 2-й Вокзальной и Яузе, образуя вместе с ними три главных оси нашей перловской ойкумены.

2-я Крестьянская, на которой мы жили, была настоящая деревенская улица, травянистая и колдобистая, с ямами и овражками, очень тихая; бывало, за целый день не проедет ни одна машина. Напротив ворот, похожая на чугунный грибок, стояла водоразборная колонка с железной ручкой, которую надо было с силой нажимать, чтобы ударила струя; колонка никогда не замерзала, даже в самые суровые зимы, только вокруг нее делался каток.

А немного правее колонки, наискосок к нашему участку, на углу 2-й Вокзальной стояли двухэтажные бараки, оштукатуренные и побеленные известкой, звавшиеся у нас Белыми домами («Он из Белых домов»); их было три или четыре, прятавшихся друг за другом, как палочки в числе 1111, и где-то между вторым и третьим домом, чуть в стороне, стояла общая уборная, вся обледенелая зимой.

В частных дворах дорожки от крыльца к калитке, к сараю и так далее, конечно, разгребали, но на улицах никто этим не занимался, весь расчет

был на то, что дорожка сама протопчется. Утопавшись, от трения многих ног она постепенно становилась все более льдистой, скользкой. Когда, став чуть постарше, я ходил в керосинную лавку и возвращался домой с трехлитровым бидоном, заткнутым тряпичной пробкой, больше всего я боялся поскользнуться. Но керосинная лавка — это особый разговор; там я приобщился очереди и человеческому смирению, на всю жизнь нанюхался керосину, наудивлялся разнообразию маслянистых воронок, через которые наполняли банки, больших и малых, по величине горлышка бидона или канистры, и ловкости оруduющего ими керосинного дядьки.

Готовили на керосинках, а отапливалось наше жилье теплым тылом печки, топившейся за стеной, у деда. Этого тепла не хватало, было холодно, как ни затыкай щели в окнах. В крошечных сенях вода замерзала в ведре, утром нужно было разбивать лед кружкой, чтобы набрать воды в ручнойник. От этого холода и сквозняков погибла в младенчестве моя старшая сестричка — как ни дрожала над ней моя двадцатилетняя мама, как ни старалась уберечь, — умерла от воспаления легких. Так что не выпало мне иметь старшую сестру: *A wind blew out of a cloud chilling and killing my Annabel Lee*. «Из-за тучи ветер холодный подул, застудив и убив мою Аннабел Ли». Я родился на год позже, и тут уж мать в меня вцепилась мертвой хваткой и не отдала; и в больницу не отдала, когда я заболел тяжелой scarлатиной в два года, и выходила.

Но наверное надо рассказать немного о матери и как она попала в Перловку. Ее отца, моего де-

душку, я почти не помню; может быть, и было какое-то смутное воспоминание, но оно смешалось с рассказами матери — о том, какой он был худой и высокий, как наклонял голову, входя к нам в комнату, и как приставляли стул к дивану, когда хотел отдохнуть, чтобы поместились ноги. Впрочем, в гости он приезжал не часто. Мне было пять лет, когда он умер в больнице. Маме отдали всё его наследство — англо-русский словарь (он начинал учить английский язык перед смертью) и сложенный вчетверо листок со стихотворением Семена Надсона:

Друг мой, брат мой, усталый, страдающий брат,
Кто б ты ни был, не падай душой.
Пусть неправда и зло полновластно царят
Над омытой слезами землей,
Пусть разбит и поруган святой идеал
И струится невинная кровь, —
Верь: настанет пора — и погибнет Ваал,
И вернется на землю любовь!

Не в терновом венце, не под гнетом цепей,
Не с крестом на согбленных плечах, —
В мир придет она в силе и славе своей,
С ярким светочем счастья в руках.
И не будет на свете ни слез, ни вражды,
Ни бескrestных могил, ни рабов,
Ни нужды, беспросветной, мертвящей нужды,
Ни меча, ни позорных столбов!

О мой друг! Не мечта этот светлый приход,
Не пустая надежда одна:
Оглянись, — зло вокруг чересчур уж гнетет,
Ночь вокруг чересчур уж темна!